



В. В. РОЗАНОВ

Лев XIII и католичество

I

Высокий талант или гений всегда внушает к себе уважение, кому бы он ни принадлежал, — встретится ли он в своих рядах или даже в рядах враждебных. Католичество к России и Россия к католичеству стоят уже много веков в положении недружелюбном. Но это едва ли лишает права чистосердечного русского человека высказать чистосердечно похвалу и уважение главе враждебного или во всяком случае недружелюбного нам мира.

Всего за несколько дней до его предсмертной болезни в иллюстрациях помещался рисунок встречи его (Льва XIII. — *Сост.*) с германским императором. Сухая еле дышущая фигура 90-летнего старца, в характерном несколько женственном одеянии, низко согнулась перед цветущею фигурою императора и короля, молодцеватого, сильного, в военных доспехах, с каскою, ловко взятою в руку. Как, вероятно, шумно вошел кесарь и тихо сидел, еще за минуту, ожидая его входа, первосвященник! В лице Вильгельма как главного на земле представителя лютеранства и лютеранских народностей входил к папе в сущности главный его враг, преемник и Гогенштауфенов и Лютера, сил материальных и духовных, поднявшихся на Рим из-за Альп. Немецкая добросовестность бросилась на латинский ум, гений, прозорливость, хитросплетения. Но паутина была только прорвана, а не изорвана: и на Тридентском соборе латиняне поправили или обрубали все те свои явные пороки и злоупотребления, которые вооружали против себя Гуса и Лютера. Затем, хотя католичество потеряло территориально Германию и страны германского корня, но внутренне зато оно сплотилось и окрепло, как никогда дотеле. Теперь и представить себе нельзя увоза папы в провинциальный городок чужой страны. Авторитет папский неизмеримо вырос, и времена Авиньона неповторимы. Папство, правда, теряет иногда материальные

частицы католического мира: но папство и католицизм как *система мысли и духа* так же не разрушимы сейчас, как в самые цветущие свои времена. Мальчики могут не изучать философии Канта. Во время Бюхнера и Молешотта на имя Канта плевали: материально философия Канта в то время все потеряла, ибо не имела вовсе учеников. Но чем это задевало философа Канта в ее существе, сплетении? Она стояла неразрушимую, одинокою. Настали другие дни, — «нео-кантианства», — и она встала в полных объеме и силе. Гонения на католицизм во Франции и Италии суть чисто материальные, военные или военно-полицейские: и они нимало не сокрушают католицизм как *систему*. Ее могла бы тронуть только *критика*. Но именно теперь критика религиозная или, в частности, критическое рассмотрение католицизма — слабее, чем когда-нибудь.

И вот на рисунке, представлявшем папу, тихо и согбенно стоявшего перед императором, можно было прочесть именно в склоненном небоедном упорстве воли, почти заранее торжествующей победу. «Я все переживу, я терпелив; я склоняюсь и буду склоняться: но никогда — до земли, в которую сойдете вы все, и ты, и твой отец и дед, мои современники, и Бисмарк, так кичившийся предо мной и умерший забытым в Фридрихсруэ. Все вы пройдете и сойдете в землю, каждый прогремев свой час, износив свои шпоры и растеряв перья на касках: но *камень Петров*, на котором сию *Я* в этой женоподобной мантилье, останется цел по обетованию моего и вашего Спасителя: *врата адовы не одолеют его*. Я верю слову этому: и сию и просию до конца мира на этом самом месте, в Ватикане, около костей св. Петра и близ *casa Romuli*¹ на Палатине».

Могучая *приспособляемость* и сохранение единства, так сказать, *темы* при всех вариантах *бытия* своего — составляют сущность католицизма. Так, как *он* рос, столь же медленно и, главное (самое главное!) *органично* — росли только могущественнейшие организмы всемирной истории. Католицизм нельзя сравнивать с другими Церквями или с царствами. Его можно сравнивать только с *категориями* исторического существования, наприм., с эллинизмом, с римской государственностью (юриспруденциею), с наукою в ее цельном сложении. Но католичество есть совершенно новый около всего этого порядок вещей, *res nova sui generis*². Его часто сравнивают с государством, но это ошибочно: что за «государство», помещающееся центром своим на площади чужого и даже враждебного народа?! Не менее основательно было бы католицизм назвать «наукою», как государством: ибо католическое богословие, начиная со схоластики, с трудов еще Фомы Аквинского и Альберта Великого, занимает в католичестве не меньшее место и имеет не меньшее влияние, чем

всяческие ватиканские канцелярии и административные скрепы. Нельзя броненосец назвать «электричеством» (по освещению), «паром» (по силе движущей), «командой», «артиллерией»: все это частности и обнимают только стороны явления. Броненосец есть только броненосец; прочие определения не верны. Так все частные определения католицизма как «Церкви», «государства», даже как «папства» — не верны. Католицизм есть просто католицизм — вот и все, и достаточно. А в имени этом — бесконечность; бесконечность и духа, и материи.

II

Лев XIII снова установил твердо корабль католичества, сильно качнувшийся при Пие IX. Он прибег в этом случае к постоянному средству всех пап, приспособляемости, — вечному средству всего живого и живучего. Возьмите организм: в свежем воздухе он глубоко дышает; в душном, отравленном — дышит короче; против ядов он вырабатывает сам в себе противоядия, необыкновенные, странные, не сотворимые в обыкновенных лабораториях. И все живет и живет среди опасностей и неудобств.

Так и папство: во всякую новую фазу истории оно входило и входит новым существом, но почерпнув «новизну» не через внешнее усвоение, и таким образом не покоровшись обстоятельствам, а взяв ее в обновлении *своих* сил и извлеки новые теории и новые точки зрения из необозримого арсенала *своих* собственных учений. Папа несколько не перестал быть «Pontifex Maximus»³, соединившись или начав подавать руку социализму и отвернувшись значительно от королей или принцев. Он не вел рискованные переговоры с Лассалем или с его преемниками, как Бисмарк; не вел их ни папа, ни кто-либо из кардиналов. Зола он не допустил до себя, принимая в то же время самых незначительных лиц. «Sum ut sum aut non sim»⁴ — остается девизом папства и в самоновейшую его фазу. Он рекомендовал Фому Аквинского, как рекомендовал подумать и об обездоленном рабочем пролетариате: таким образом он обнимал умом, как бы равно близко стоя к ним, века XIII и XIX. В осторожности Льва XIII, как и в пылкости Пия IX, при всей их по-видимому противоположности, мы в сущности наблюдаем лиц не столько индивидуально-великих, как великих-коллективно: велик тот холм на берегах Тибра, mons Vaticanus⁵, на котором сидят и трудятся эти... люди с языческим еще титулом у себя: ибо «Pontifex Maximus» или сокращенно «P. M.» под изваяниями — титул еще Римской республики, до Христа бывший.

Удивителен не *индивидуально* — папа, но — *папство*. С первых времен западного христианства оно начало расти и выделяться, как рос и вырос из *casa Romuli* — Рим: также незаметно, мало-помалу, но так же постоянно, неустанно, точно имея «звезду над собою». Папство было и останется как бы нервной системою в организме католичества; без него католичество как Церковь, богословие, мораль, богослужение, мигом рассыпалось бы в ничтожество, в труп. Так теперь велика уже сила исторической к нему привычки, отнесения всего в католичестве к личности папы. Это единственная Церковь — *личная*: тогда как остальные Церкви, сперва по неудаче и потом принципиально, не только без-главны, но и без-личны: обобщены, смутны в выражении своем, и являют духовные и священные *учреждения* и *установления*, конечно, не без *администраторов*. Однако это огромное развитие «олицетворения» в западном христианстве не следует смешивать с без-соборностью: напротив, во все трудные моменты или в моменты новые, новой фазы существования, католичество собиралось на соборы, имена которых всемирно известны. И хотя теперь папы объявили себя «непогрешимыми *ex cathedra* в догматической сфере» — но почти наверное можно предвидеть, что они и впредь не перестанут собирать, в сомнительные минуты или в минуты торжественные, «соборы», почерпая в них такой источник силы, оживления, красоты и влияния, каких нельзя же найти в глухих и темных канцеляриях, без всемирной видимости их, без вековой о них памяти. Слишком они мудры, чтобы выронить хотя малейшую драгоценность из рук: а соборы, несомненно, в общем придали необыкновенный цвет и оживление как в общем всему католичеству, так в частности и личности руководивших ими пап. В формуле папской «безошибочности» (*infallibilitas*⁶) вовсе не перечислена рубрика предметов, к каким она относится: и достаточно папе объявить какое-нибудь затруднение, вовсе не «догматического», напр., характера, вне своей «мудрости», — чтобы повод для собора, когда он станет нужен, вновь явился. Да и Ватикан, с громадной массой пребывающего там духовенства, при отсутствии вообще в последнем раболепия и подавленности, не есть ли в сущности скрытая форма постоянно пребывающего собора «*publicae et privatae speciei*»: кадр уже готовый собора явного и на глазах мира.

Выбор нового папы не принадлежит предыдущему: это одно проводит резкую и вечную границу «олицетворения» католичества и сохраняет в нем колорит — употребим политические термины — скорее духовной аристократической республики, нежели монархии. Тут есть две стороны: обладая «*infallibilitate ex cathedra*», папа в высочайшей степени олицетворяет Церковь. Таким образом Церковь там не есть «строй», «система органов», вообще какой-либо «институт», а — имен-

но и непременно лицо, глазастое, слушающее, ласкающее, яростное, *человеческое*: к которому и относится все благоговение верующих. Но это лицо служит Церкви, а не себе; олицетворение — *для* Церкви, *для* верующих, а не из своекорыстного *интереса* самого лица. Умер папа — и с последним вздохом абсолютно все его, ему лично принадлежавшее, умерло: выступает *respublica Romania, mons Vaticanus*, «патриции» католичества в красных мантиях с шлейфом (у кардинальского парадного одеяния — длинный, чисто женский же шлейф, при узкой обтянутости вокруг туловища). Наконец, если принять во внимание, что сан священства с последнего «*curé*» не может снять сам папа, даже при своей «непогрешимости», — хотя бы священник этот отступил от папы и проклял самое католичество («его будет судить Бог: но судить именно как священника», говорят в таком случае его начальники, не решающиеся снять с него сана), то мы увидим, что коллективная *соборная* личность миллионно-голового католичества обеспечена так незыблемо, как бы там существовало «*liberum veto*»⁷. В самом деле, «свободное слово», с страшной абсолютностью этой свободы, не отнято у нижайшего члена служебной «армии Христу» (берем их понятия): и последний что бы ни говорил и как бы ни был наказан (ведь и носителя *liberum veto* можно было убить) — имеет, однако, за собою и у себя слово с авторитетом непоколебленного своего священства. Невольно вспомнишь опять же античный Рим с его *comitia patria, centuriata* и *tributa*, с его *reges* и диктаторами: странная смесь, где столь оригинально и неповторимо сплелись в один канат элементы цезарские, республиканские и даже охлократические. Но в Ватикане это качество *смешанности* повторилось без подражания, — вторично выросло из ветхой земли, как новое дерево аналогичного сложения. Все это сотворялось веками, в сложнейшем католическом богословии, без малейшей собственно мысли что-нибудь взять из государственных учреждений старого Рима. Можно сказать, Рим папский так же *приспособлялся* ко всему, как никогда ничему *не подражал*: он всегда рос из себя, убежденно и вдохновенно; шел — следуя «звезде своей».

III

Касательно католичества у нас, русских, можно сказать, существуют одни предрассудки и коротенькие смешки. Новая наша полемика против него есть только серьезная форма развития этих же смешков. «Там все поглотил папа: начала *соборности* там не существует вопреки *нам*, у которых начало соборности сохранено». Так писали не только славянофилы, полемисты *ex professo*⁸, но мне пришлось формулу эту услышать в аудитории Московского университета от такого знатока

истории и убежденного западника, как В. И. Герье. Между тем кто же не знает, что именно Западная-то Церковь и собиралась всегда на соборы в затруднительных случаях: Клермонский, Флорентийский, Базельский, Констанцский, Латеранский, Ватиканский? И здесь «соборовавшие» представители духовной и светской властей были так независимы от личности пап, что порою папе приходилось бежать с собора. Это была революция, так сказать, введенная в душу Церкви, как ее принцип, как *liberum veto* в конституции Польши. И папство не только не погибло от этих революционных в себе принципов, но через них увеличился блеск и объем католицизма, а от него все это, т. е. блеск и сила, перешли на папство. Второе столь же частое обвинение католичества заключается в том, что они «не позвали нас» на эти свои совещания. Тут сказывается обида «дальнего родственника», которого обошли приглашением на именины; обида, всегда особенно язвящая и никогда не прощаемая. Но дело в том, что первое время нас звали туда, но мы сами не пошли по чванству, по узкому провинциализму своей мысли, из страха провратиться и загородить окошечку перед лицом целого мира. Известны споры Грозного с Поссевином, где он огорошил «западника» вопросом, для чего они бреют подбородок; и еще другой случай, где невежливо отвечавшему кардиналу Великий князь Московский велел прибить шляпу гвоздем к голове. Таким «богословам» с гвоздями и интересом к подбородку было трудно выступить перед лицом мира. И вот обидчивый «дальний родственник» протестует: зачем же они собирались и советовались, когда «нас там не было» (взгляд Хомякова). Но ведь надо же было католикам что-нибудь ответить на критику Лютера и Кальвина; надо было исправить неясности в доктрине и злоупотребления в практике, которые вызвали ополчение Реформации. И они собрались на Тридентский собор. Ибо решительно невозможно было, напр., на сомнения Лютера о спасении *верою* или *добрыми делами* ответить постановлениями Никейского собора. Как Никейский собор собрался и вынужден был собраться ввиду критики и сомнений Ария, так Тридентский собор собрался и не мог не собраться ввиду критики и сомнений Лютера, — не меньшей, чем у Ария, силы и искренности. Ведь это у нас только перед лицом купцов, обмеривающих покупателя в товаре, для вразумления их читаются громовые проповеди Иоанна Златоустого, поносившего развратный Константинополь за пороки роскоши и разврата. Такого неумного расхождения вопроса и ответа, нужды и удовлетворения на Западе не допускается, не допускалось.

Есть еще упрек католичеству, по-видимому, более основательный: что это давно уже только *политика* и *дипломатия*, а не *вера*, не *молитва*. Он не может быть отнесен к мирянам-католикам, ибо с кем же

им вести политику и дипломатическую игру, когда они не имеют, так сказать, партнера? Как и нашим мирянам, — им предоставлено в религии только верить и молиться. Колорит религии этих простых людей тот же простой и теплый, чистосердечный и наивный, как и у нас. Посмотрите на солдат поляков и литвин, приходящих к исповеди в церковь Св. Екатерины на Невском. У католиков только больше лиризма в вере, у нас — эпического, красивого спокойствия. Итак, политика и дипломатия — удел собственно иерархии католической, начиная от священника и восходя до папы. Но сказать, что и у них «вера свелась к политике» — невозможно, как невозможно было бы сказать о Филарете Московском, что у него занятия делами епархии и вообще делами Российской Церкви (как члена Синода) совершенно подавили подвиг монашества и память христианина. И для Филарета, и для папы сутки имеют 24 часа: и если все часы разобраны на «дела», разобраны нетерпеливо и требовательно, то зрителю со стороны представляется, что на верху церковной иерархии стоит какой-то чиновник или дипломат, а не молитвенник. И о Кутузове, видя, что он не скачет перед войсками на поле, а все подписывает какие-то бумаги, с не меньшим правом, но и не с большею основательностью, можно было бы сказать: «Это столоначальник, а не полководец». Тут мираж и, пожалуй, несчастье главенствующего положения, а не принцип Церкви. Можно было думать о Боге и молиться 18 часов в сутки в Фиваиде, на Монте-Кассино; но с тех пор как у Церкви возникли «дела» и «делопроизводства», вообще механизм и механика, — и она приняла в себя невольно все недостатки, бездушие и формализм механического существования. Центр тяжести этой механичности падает невольно и непременно на главу или главы Церквей, которые не *«не умеют»* молиться, но их молитва кратка, тороплива, едва видна, может быть, не так тепла, как у простых священников, и во всяком случае не так наивна и пламенна, как у мирян. И какой-нибудь солдат, взрывающийся в нужную минуту пороховой погреб и в нем гибнущий, тоже храбрее и более выражает в себе картинную идею: «война», чем Кутузов или Наполеон, люди не без эгоизма и привычки к некоторой телесной холье. Здесь вообще печаль истории, прогресса и усложнения культуры, а не недостаток личности и не принцип учреждения.

IV

Сказанным мы нимало не хотим утвердить, что католицизм не имеет недостатков. Но те недостатки, в каких привычно и стереотипно именно русские упрекают их, суть действительно кажущиеся. Вполне поразительно, что при всем огромном уме и тонкости как

администрации католической, так и богословия католического, они точно не видят, что стимул главный возмущенности против них народов и стран есть небрежное и частью преступное отношение их к семье и всем коллизиям брака. Ведь, в сущности, это именно было главным вещественным и нервным толчком, подвигнувшим германцев и англичан пойти за Лютером и Генрихом VIII. И не может же укрыться от католиков, что, может быть, германцы и англичане во всем проиграли, оторвавшись от Рима, — но что в семейном отношении они, несомненно, через это выиграли: стали чище, здоровее, нравственнее, словом — биологически крепче латинской расы. *A in corpore sano и mens sana*⁹: они и духовно, культурно поднялись выше католических народностей вследствие оздоровления семьи, вышедшей из под убийственного католического режима. Проходя в Риме на *Corso* мимо дворца конгрегации *De propaganda fidei*¹⁰, этого почти второго Ватикана, не мог я не думать и часто думал: «Вот если бы таким же *громадным и всемирным учреждением*, столь же *гениально* организованным, зорким, мудрым и деятельным, католичество ответило на смиренные нужды семейных рабов своих, если бы с таким же бесконечным милосердием и дальнорукостью и применимостью к индивидуальным положениям оно относилось в области семьи и брака, с каким в *Пропаганде* применяется к особенностям веры и национальности индусов, японцев, негров, американцев: то, без сомнения, оно сохранило бы религиозную целость Западной Европы, да и вообще стало бы непобедимо, неуязвимо». Но они лишь картинно приветствовали семью, через Мадонн и св. Юлиана с младенцем на руках: а законодательно и административно и они судят ее не во дворце, как *Propaganda fidei*, а на каких-то задворках, в какой-то лакейской конуре, едва ли не хуже еще, чем наши пресловутые «бракоразводные столы» в консисториях. Семейные сцены из Библии они изваяли в чудных изображениях бронзовых дверей во Флорентинской баптистерии (крестильне), но дальше бронзы дело не пошло: все нормы семьи взяты из римского языческого о ней законодательства, т. е. в сущности от Венеры Капитолийской (ибо брак везде часть религиозного культа), но ничего для брака не взято из неоспоримого Слова Божия о нем, записанного в Библии. Здесь, как и у нас, у католиков действует та же самая непостижимая слепота, *fatum mentis*, — та же короткость мысли, отсутствие догадок и какого-либо предвидения.

Пий IX, который у нас оценивается очень не высоко, в католическом сознании ставится наряду с самыми знаменитыми в истории папами: при нем произошло формулирование двух догматов, которые — без формул только — давно уже, много веков назад,

вошли в веру и почитание у всех католических народов: о непорочном зачатии Пресвятой Девы и о «непогрешимости с кафедры» римского епископа. Первым догматом словесно завершился давно сложившийся «культ Мадонны»¹¹, «религия Небесной Девы», — в которой в сущности очень мало евангельского образа Божией Матери; вторым догматом завершилось учение о «камне Петровом», на котором Христос «основал Церковь». «Паси овцы Мои» — это Иисус сказал не всем апостолам, но одному Петру, т. е. одним преемникам Петра, каковыми считают себя папы, утвердившиеся на месте его мученической кончины. Для нас, русских, все это чуждо и посторонне; но католичество имеет свою историю сознания, историю своих убеждений, и в ней-то Пий IX занимает огромное место. На мои слова, в Италии, что Лев XIII выше своего предшественника, мне отвечали удивлением: «Лев XIII есть только политик, а тот был великий *вероучитель*» (конструктор понятий).

V

Самый *тип святости* в католичестве иной, чем у нас. В то время как на Востоке культивировались идеи тихости, невозмутимости и незамутимости, а в случае страдания — покорности, на Западе входили в культ идеи *силы и деятельности*. Пассивно-терпеливое христианство и христианство активно-поборающее — так лучше всего можно выразить восточную и западную религиозные идеи. Когда обрушилась Западная Римская империя и на Европу хлынул поток варваров, то сама история для всякого, кто имел какой-нибудь авторитет, силу, мудрость и святость в себе, поставила задачу: заботу, устройство обломков как бы крушившегося поезда. Это приходилось делать, другое — оставить в стороне. И вот эта-то *помощь человеку*, энергичная, иногда насильственная, и перешла мало-помалу из временной исторической задачи и нужды в идеал святости, несвязанной больше с временем, отвлеченный и абсолютный. В тихих пустынях Египта и Сирии, на островах греческих, на уединенной горе Афонской нечего было и не от кого спасать: и выработался идеал жизни тихой, созерцательной, уединенной, с отложением «всякого житейского попечения». Вот отчего папы — воины и политики, которые были бы вовсе неуместны на Востоке и здесь не были бы возведены в «святые», — на Западе были почтены как «архистратиги Михаила» человечества: как подобный образ Ангела-воина введен и нами в Небеса. Сообразно этому деятельному характеру, и Пий IX, либерал и потом консерватор, и Лев XIII, подавший руку Французской республике и высказавшийся за правоту недовольства рабочего класса в Европе, ничем не нарушили

оба традиций римского священничества и не вышли из круга и идеала понимаемой там святости. Оба, в соответственных новых условиях, пытались быть инженерами-архитекторами возводимого здания цивилизации, все растущей, этаж за этажом. В знаменитых своих энцикликах Лев XIII периодически высказывался о «современном положении вещей», и энциклики эти были всем слышны, — одними обсуждались и критиковались, другими принимались как «credo». Ими Лев XIII успешно или безуспешно вводил, как регент вводит камертоном, «тон» в хор европейских голосов, частью страстно враждебных папству, католичеству, даже вообще вере. Но это все равно: голос папы всем был слышен, а «будущее» и «судьбы», конечно, уже лежат вне его силы и предвидения. Через посредство энциклик он ввел голос в рев мнений европейских, какого не имели Виктория, Вильгельм или Франц-Иосиф. Голос этот во всяком случае слышнее, обдуманнее, сложнее, и всякий отдельный раз долее помнится, чем голос какого бы то ни было оратора в Европе. Он к тому же, обходя мелочи жизни, касается самых высших и принципиальных пунктов данного времени. Таким образом, через энциклики эти папа приобрел как бы ораторскую трибуну в современном парламентарном строе Европы, но только чрезвычайно независимо поставленную, вне частностей стран и будничной политики. Он понял, что ведь и Гладстон или Биконсфильд не имели силы физической, как и он, и однако двигали армиями и флотами; «мнение» вообще управляет и оружием в новом мире. И он, не довольствуясь владычеством над душами, которое более или менее отвлеченно, а иногда и платонично, решился тоже «иметь мнение вслух» и через него влиять на «мнения» же. Голос и мнение его имеют еще то преимущество, что они никогда не «проваливаются» противною партией, т. е. он всегда что-нибудь выигрывает и никогда не проигрывает.

Папство и католичество — это *imperium spirituale*¹², духовное кесарство. Глава ордена иезуитов не называется ни игуменом, ни епископом, а «генералом». И вместо классического «Pontifex Maximus» к папе удобнее было бы прилагать классический же титул: «imperator». Клир, духовенство во всяком случае есть его духовное войско: черные легионы, во всем послушные лозунгам с Mons Vaticanus. Служение этой духовной империи привлекательнее, чем служение какому бы то ни было светскому государству на Западе, по чрезвычайному обилию в ней идеальных элементов, по ее седой древности, святому основанию (Евангелие), по величию ее совершившейся истории. «Когда я вошел в сенат, то мне показалось, что я вижу перед собою собрание царей», — передал свое впечатление соотечественникам один афинянин, посол и ритор. Вот такое впе-

чатление, мне думается, затаивает в себе всякий светский сановник или политик Европы, наблюдающий или находящийся среди одной из ватиканских церемоний, в собрании кардиналов или епископов. Все здесь еще царственно, и только здесь, — тогда как (я наблюдал в парламенте, в Вене) в остальных местах политика и вообще жизнь публичная и историческая захвачена пиджаком и блузою, спустилась в низшие ярусы манер и смысла. Блуза и пиджак, может быть, займут весь горизонт будущего, — очень может быть. Они во всяком случае имеют огромное право на существование, на отдых, на благодарность человечества. Культура становится все более и более материальной, вещественной: и эти гномы, около нее трудящиеся, и частью ее извлекшие из-под земли, — эти другие легионы с крепкими мускулами и маленькой добросовестностью имеют свое право сыграть огромную роль. Уже теперь невольно их судьба, о них забота более и более становится главным содержанием государственной европейской жизни. Европейские государства все национализировались. Государство — это теперь нация, с заботами о самопрокормлении и, в зависимости от этого, с уловками поглощения более слабых и низших соседних организмов. Почти вся политическая жизнь свелась к питанию, с значительной атрофией головных интересов. Но папство и католичество еще имеют «голову», — или иллюзии «головы», если последняя, как утверждают некоторые современные философы, вообще имеет в истории лишь иллюзионное значение (марксизм).

VI

Обнимая все нации, впитывая в себя элементы из всех сословий, давая шапку кардинала или тиару папы только заслугам и достоинству, только добродетели разуму и энергии, католичество — в одно и то же время и республиканское и монархическое, и аристократическое и демократическое, — содержит в себе самые сильные возбудители для соревнования и самые сильные приманки для всего мечтательного, гордого, героического и романтического. «Рыцарем» в средневековом смысле можно еще быть только здесь. Вот отчего среди поляков, итальянцев, немцев можно встретить столько низших, даже служителей этой Церкви, без памяти любящих ее гордое и древнее здание. Стоит вспомнить «девоток», нищих и служанок, прибегающих только к ранней службе в костеле, или вечно толкущихся на его паперти, и которые готовы жизнь положить за своего ксендза. Стоит вспомнить фанатическую деятельность белорусского ксендза Белякевича, узы и темницу кардинала Ледоховского и «партию центра» в Германии, которая принудила и принуждает

свое отечество, весьма любимое, к уступкам иноземной и иноплеменной, итальянской по крови и территории, власти. Католицизм весь талантлив и везде он сплочен, един. Это единство было достигнуто в чрезвычайно медленном и исключительно внутреннем процессе. Было время, когда Ватикан боролся с Латераном, и два папы, один в старом Латеране и другой в новом Ватикане, взаимно проклинали друг друга. Все шло так же упорно и страстно, как в Риме между сперва патрициями и плебеями, потом между оптиматами и пролетариями, и, наконец, между старым сенатом и новой империей. И как в старом Риме всякий век борьбы давал в итоге все высшее единство и еще более мощную силу, так и в папстве и католичестве тысячелетие борьбы выковало власть беспримерно единую, организацию беспримерно слитную, авторитет беспримерно могущественный. «Всюду, где есть грех, простирается власть римского первосвященника», — так вымолвил, почти про себя, один из предшественников Пия IX задолго до провозглашения догмата о «непогрешимости». Формула эта мне представляется еще притязательнее и несравненно поэтичнее, чем формальная, почти юридическая «*infallibilitas ex cathedra*», заявленная и полученная предшественником Льва XIII.

В не очень большой картинной галерее при Латеранском соборе есть портрет Льва XIII, подаренный сейчас по получении им тиары. Портрет почти квадратный, поясной, небольших размеров, но только очень хорошей работы. Под ним есть подпись папы, мною скопированная, но которую я затерял потом. «*Sancta Virgo*»¹³, — начинается она обращением, — и содержит краткую, строк в семь, молитву-обет. В ней папа-рыцарь, папа-воин клянется *Sanctae Virgini* не покладать рук в борьбе с врагами ее: молитва и обещание чрезвычайно личные и одушевленные. Нам все представляется, что папа только политик; за политиком мы не видим идеала, и папа, конечно, не рассказывает нам своих молитв, мечтаний, тихих ватиканских дум, которые, однако, *есть*. Но он есть священник прежде всего, идеалист-священник. В лице его священническая власть на земле выросла до величайшего своего выражения. И в этом-то идеализме его священнического сознания и укреплен фундамент его политики, которая настолько решительна, поскольку горяча хотя бы краткая безмолвная молитва.

В линии непрерывного религиозного сознания три храма мне представляются кардинальными точками: Луксор в Египте, храм-город (по обширности), откуда Моисей вынес многие из своих понятий, потребностей, психо-физиологических привычек и законов, ритуальных учреждений: знаменитый Соломонов храм, под арками которого пелась уже нам родная Псалтырь; и, наконец, Св. Петр в Риме. В последний мне случилось попасть как раз во время службы

кардинала Рамполлы. Тянули «Miserere»¹⁴, — но храм до того велик, что между тем как при главном, переднем алтаре шла служба, она именно занимала только угол здания, а по самой середине его было психологически так свободно, настолько чувствовалось здесь пространственно уже другое место, вне-богослужебное, что не только большая толпа присутствовавших, но два-три и католические священника прогуливались взад и вперед как по залу, разговаривая громко о своих делах. Храмы древние как бы одевали камнем площадь, и это перешло во многие готические кафедралы (например, Св. Стефана в Вене) и в Св. Петра. Наши храмы теснее, субъективнее, провинциальнее. В них больше теплоты и по крайней мере привычного нам религиозного смысла. Я хочу и могу молиться только в своей церкви. Это так. Но при всем этом провинциальном устройстве своего сердца, не могу я не сознавать, однако, что «вон там лежат границы нашего уезда» и что с ними мир вовсе не кончен. Худо или хорошо, но я уже учился географии, и не могу погасить в себе знания, что есть иные страны — «где все обильем дышит». Католицизм, как бы мы его ни судили и ни осуждали, во всех отношениях мысли, художества, дел совершенных и задумываемых, — представляет чрезвычайное «обилие» и этим характеризуется всего точнее.

1903 г.

